

«Русское богатство», СПб., 1890, №1.

Мас. №10405

НОВЫЙ ПОВОРОТЪ ВЪ ИДЕЯХЪ НАШЕЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ.

«Скучная исторія», повѣсть Антона Чехова.

(Критическій взглядъ).

Слѣдя за развитіемъ нашей общественной мысли, насколько она отражалась въ литературѣ, читатель могъ замѣтить въ прошедшее десятилѣтіе слѣдующій процессъ: литература конца 70-хъ и начала 80-хъ годовъ была почти совершенно чужда вопросамъ общимъ, основнымъ, о цѣли и смыслѣ жизни вообще. Идеалы были, но это были идеалы прогресса общественнаго. Они всецѣло поглощали душу, такъ что не было мѣста крупнымъ сомнѣніямъ ни въ самомъ смыслѣ и цѣли этого прогресса, ни въ средствахъ, какими можно достигнуть его. Такъ какъ прогрессъ общественный былъ конечнымъ идеаломъ, былъ нѣкоторымъ подобіемъ божества той эпохи, то и всѣ вопросы легко разрѣшались въ немъ. «Какая цѣль жизни?» спрашивалъ себя передовой человѣкъ того времени, и отвѣчалъ: «общественный прогрессъ». — «Хорошо-ли вотъ это и это?» спрашивалъ онъ себя далѣе, и сравнивалъ то или другое со своимъ идеаломъ или формулой прогресса: если дѣйствіе и явленіе совпадало съ его представленіемъ о прогрессѣ, если казалось, что оно ведетъ къ нему, оно представлялось хорошимъ, нравственнымъ, даже геройскимъ; если нѣтъ — наоборотъ. Сообразно съ этимъ, и передовые писатели той эпохи все свое вниманіе обращали на эту станцію человѣческой мысли, старались опредѣлить скорѣйшіе и ближайшіе пути къ этой станціи, исследуя частные вопросы о томъ, какія формы должна имѣть эта станція, на какихъ лошадяхъ и экипажахъ къ ней скорѣе доѣдешь и т. д.

Когда все это, казалось, было довольно хорошо определено, из среды той же литературы раздались голоса, хотя и уважаемые, но принадлежавшие старому поколѣнью, — укажемъ, между прочимъ, на голосъ Бавелина, — эти голоса приглашали обратить вниманіе на то, что нельзя пускаться въ дальнюю неизвѣстную дорогу безъ компаса, который бы определялъ основныя страны горизонта, т. е. говоря проще, — общие нравственныя задачи и вопросы, лежащія въ основѣ всѣхъ другихъ вопросовъ, вѣчныя задачи человѣческой жизни, вѣчные вопросы о смыслѣ и цѣли жизни вообще. Ихъ рѣчь не была услышана, или, говоря языкомъ нашего сравненія, ея было некогда слушать на перепутьѣ, когда лошади стояли уже около крыльца, а вдалекѣ впереди ярко рисовалась въ воображеніи станція съ надписью: «прогрессъ». Казалось, что тамъ на мѣстѣ, можно уже будетъ рѣшать всѣ эти высшіе и вѣчные вопросы, да и то, если это кому-либо понравится. Вообще же эти высшіе и вѣчные вопросы казались бесплодной метафизикой, неразрѣшимыми задачами, подобными квадратурѣ круга и т. п., такъ что для умнаго человѣка считалось смѣшнымъ и нелѣпымъ задаваться ими. Къ старикамъ напоминавшимъ о нихъ, относились шутливо-снисходительно, изъ уваженія къ ихъ прежнимъ заслугамъ: «сидите себѣ, почтенные, въ кельѣ подъ елью и шамкайте», говорили имъ, «а намъ некогда, намъ нужно ѣхать». И ѣхали. Но вотъ на дорогѣ къ этой удивительной станціи случилось, повидимому, что-то неладное. Потому-ли, что выѣхали безъ компаса, или почему-либо другому, но по крайней мѣрѣ, въ концѣ восьмидесятихъ годовъ обзавалось, что путешественники не только сидятъ на томъ же мѣстѣ и все еще собираются ѣхать, но сидятъ они уже безъ лошадей, безъ экипажей, безъ ямщиковъ, а главное, безъ всякой належы и въ полномъ уныніи.

Судя по беллетристичѣ этой второй эпохи, всѣ погрузились всецѣло въ отчаянный и безпросвѣтный пессимизмъ, анатію, безнадежность, протрацію. «Бодрые молодые беллетристы» предшествующей эпохи изъ бодрыхъ обратились или въ ноющихъ, или въ пародію на французскихъ реалистовъ новой школы, т. е. они стали изображать, по ихъ мнѣнію, жизненную правду, а, на самомъ дѣлѣ, ту блестящую жизненную грязь, сутолоку и бѣготню бѣлки въ колесѣ, которая имъ казалась «жизнью», потому что, по дорогѣ къ станціи «про-

гресса», эти господа растеряли всё свои идеалы, вѣрованія и вѣянія, подобно тому, какъ на плохихъ дорогахъ теряютъ оси, колеса, шворни. Этотъ второй періодъ былъ эпохой невыносимой тоски, или, вѣрнѣе, полной бессмыслицы безъ всякой руководящей мысли, гдѣ растерявшіеся люди старались придать себѣ бодрый видъ и облечь самое свое невѣріе, свою разбитость въ извѣстныя идеи, чтобы оправдать этимъ свою неудачу. Такъ, въ это самое время, нѣсколько беллетристовъ бывшихъ нѣкогда идейными, пустились поучать публику, что дѣло не въ идеяхъ, а въ художественности. Даже нѣкоторые критики, изъ самыхъ нѣкогда рьяныхъ идейниковъ, затянули было ту же пѣсню, но голосъ ихъ былъ такимъ жалкимъ, старческимъ, нелѣпымъ хрипомъ, что они сами испугались и спрятались въ свои раковины. Выразилось это стремленіе къ самооправданію — и еще однимъ курьезнымъ образомъ: дѣло въ томъ, что голоса, приглашавшіе къ пересмотру и отысканію основныхъ вопросовъ жизни, не умолили въ это время общей сутолоки; но теперь къ ихъ рѣчамъ стали относиться иначе: къ нимъ внимательнѣе стали прислушиваться въ толпѣ; зато бывшіе «герои» толпы отнеслись къ нимъ теперь «безъ всякаго снисхожденія». Благодаря общему свойству людей сваливать свою неудачу на кого-нибудь другого, — теперь всё бѣды и обвиненія стали сваливать на разныхъ старцевъ, сидящихъ «въ кельѣхъ подь елью», и это выраженіе приобрѣло уже теперь не снисходительно-шутливый, а обвинительный и полный презрѣнія оттѣнокъ.

«Это вы, сидящіе въ кельѣхъ подь елью, всему причиной: это вы звали размышлять о смыслѣ жизни, созерцать свой нупокъ (бузвальное выраженіе одного изъ критиковъ), вы виноваты во всемъ!» Такъ кричали по адресу старцевъ и этимъ крикомъ успѣли если не совершенно себя реабилитировать, то по меньшей мѣрѣ, снова привлечь къ себѣ наиболѣе легкомысленныхъ изъ «толпы», которые стали бормотать себѣ подь носъ тѣ же удивительныя обвиненія и были очень счастливы, что не нужно думать ни о какихъ общихъ и глубокихъ вопросахъ. Но тутъ случилось удивительное обстоятельство: эта поверхностная масса, отвернувшись отъ «кельи подь елью» вовсе не задумывалась и о новой поѣздкѣ на станцію «прогрессъ»; она избрала болѣе легкій путь: «жить, пользуясь моментомъ», т. е. танцовать, пить, пѣть, веселиться и играть въ винтъ. По крайней мѣрѣ, лѣтописцы этой эпохи съ пол-

ною добросовѣстностью собрали очень странныя цифры сравнительной статистики, съ одной стороны.—о количествѣ покупаемыхъ книгъ и выписываемыхъ журналовъ, а съ другой—о количествѣ распроданныхъ картъ. Изъ этой статистики оказывается, что потребление картъ среди интеллигентной молодежи возрастало въ геометрической прогрессии, а потребление книгъ и журналовъ въ той же прогрессии падало. Однако, долго жить такъ было невозможно. Человѣческая природа, какъ бы на нее не клеветали французскіе яко-бы реалисты и наши подражатели этому псевдо-реализму, не можетъ долго выдерживать состоянія неразумной безцѣльности существованія, чѣмъ бы человекъ ни стремился заглушить этого состоянія, какъ бы онъ ни винтилъ и ни завинчивалъ своей мыслью и своимъ сердцемъ. Среди вина, среди попойки, пляски и развратнаго прожиганія жизни, разумъ и сердце пробуждались, и тогда спрашивали: «да неужели же это жизнь? Да что же изъ этого стоитъ жить?» Иные на этомъ не останавливались, а задавались гамлетовскимъ вопросомъ «быть или не быть», рѣшая его часто во второмъ смыслѣ, иные въ послѣдній моментъ отчаяннаго рѣшенія «не быть», вдругъ пробуждались, и въ ихъ душѣ начиналась новая работа, творческая, создающая вѣру въ жизнь и въ ея смыслъ. И вотъ тутъ наступаетъ новая эпоха, которую мы теперь и хотимъ замѣтить. Пессимизмъ и отчаянная безадежность конца 80-хъ годовъ смѣняются мало-по-малу призывами—критически разобраться въ этомъ пессимизмѣ. И въ этихъ новыхъ призывахъ, мы видимъ впереди другихъ уже не старцевъ 40-хъ и 60-хъ годовъ, а талантливыхъ представителей литературы 80-хъ и особенно конца 80-хъ. Мы имѣемъ въ виду новую повѣсть А. Чехова и философско-поэтическій трактатъ г. Мивскаго «При свѣтѣ совѣсти». Произведеніе Чехова, выписанное въ заголовкѣ этой статьи, показываетъ только первую половину этого новаго процесса, т. е. наступленіе сознанія, что такъ жить, т. е. безвѣрно, безъ руководящей идеи, нельзя. Герой Чехова, состоявшійся знаменитый ученый, врачъ, приходитъ въ концѣ жизни къ такому выводу: «каждое чувство, каждая мысль, жить въ мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ—наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый прекрасный анализъ не найдетъ того, что называется общимъ мѣромъ или Богомъ живого человѣка» (стр. 127).

Ученый же с. 110—111 г. Покровский.

Весь рассказ г. Чехова есть талантливая попытка нарисовать намъ невозможность жизни безъ таковой «общей идеи, или Бога». Вы видите передъ собою честнаго, умнаго, прекраснаго старца, безпредѣльно преданнаго своей наукѣ, своимъ ученикамъ, любящаго свою семью, но, въ концѣ концовъ, чувствующаго, что онъ ничего серьезнаго не сдѣлалъ, не создалъ, что все кругомъ идетъ помимо его, даже въ его родной семьѣ. Жена его, нѣкогда прелестное, воздушное созданіе, на которой онъ женился по любви и съ которой прожилъ мирно всю жизнь, теперь старая, расплывшаяся развалина, и это бы ровно ничего не значило, — старость имѣетъ свои права, свои радости, свое высокое счастье, — дѣло въ томъ, что знаменитый ученый не могъ дать ей той общей идеи о жизни, того Бога, которыхъ у него самого не было, и въ концѣ жизни эта жена является такой же, исполненной суетности, мелочей и глупостей, женщиной, какою она была и въ первый день брака; но тогда она была молода, красива, увлекала своей молодостью и прелестью, и внутренней пустоты не замечалось. Прекрасная форма давала столько мимолетныхъ удовольствій, что некогда было думать о полной бессодержательности этой формы.

Но вотъ красота и молодость улетѣли, и осталась одна пустота, и съ этой пустотой надо жить день за днемъ, надо вести и воспитывать семью, надо готовиться къ смерти и отдыхать отъ непосильныхъ трудовъ всей жизни. Но ничто подобное невозможно, немислимо, когда около человѣка пустое существо, все растрчивающееся на пустяки. Г. Чеховъ рисуетъ день нашего несчастнаго ученаго съ утра и до поздней ночи, и мы видимъ, какъ эта женщина, въ сущности добрая и милая, отравляетъ жизнь другого человѣка и ничѣмъ, кромѣ дурнымъ, бьющимъ ярко въ глаза, нѣтъ, а только тѣмъ, что у нея нѣтъ Бога, нѣтъ никакой общей и высшей идеи жизни. Въ этомъ огромная заслуга рассказа г. Чехова, т. е. въ томъ именно, что онъ ясно показываетъ, какъ мученія стараго ученаго возникаютъ не изъ какихъ-либо положительныхъ недостатковъ его жены, а именно изъ этого отсутствія въ ней Бога. Вотъ утра, и почтенная женщина, озабоченная домашними заботами о живности, продуктахъ, о жалованьи, о пенсіи, о сумасшедшемъ за нѣсколько мѣсяцевъ, о томъ, что сыну, служащему въ полку гдѣ-то въ Варшавѣ, надо выслать и въ этотъ мѣсяцъ 50 р., о томъ, наконецъ, что къ

ея дочери давно ъздить женихъ, о которомъ надо же рѣшить что-нибудь, — озабоченная всѣмъ этимъ, она съ утра приходитъ къ профессору и каждый день сообщаетъ ему, какъ новость, всѣ эти свои хозяйственныя терзанія. Онъ, отъ своихъ ученыхъ занятій и тѣла, потерявъ способность спать по ночамъ и сидеть разбитый, измученный своими одинокими мученіями и предчувствіями смерти, а она повторяетъ ему въ сотый разъ ту же и ту же пѣсню. И все это, съ ея точки зрѣнія, очень важно, очень нужно, очень ее тревожить. А онъ, хотя и сознаетъ, что все это лишнее, все это не нужно, сознаетъ, что и лакея не нужно, и тѣхъ обѣдовъ, которые стоятъ такъ дорого, не нужно, сознаетъ, что прежде, пока онъ не былъ сдѣланъ деканомъ, они жили гораздо счастливѣе и безъ лакея (съ дѣвкой Агафьей) и безъ этихъ обѣдовъ, но онъ чувствуетъ, что не ему, утомленному и работой, и бессонницей, бороться съ этими привычками жены, ставшими домашнимъ обычаемъ. Да и какъ онъ будетъ бороться съ ними? Что онъ далъ ей во всю ихъ общую жизнь, въ смыслѣ идейномъ, на что бы теперь могъ опереться, чтобы устроить домашнюю жизнь, если не по идеѣ (у него ея нѣтъ), то хотя бы по своему бюджету, по своему вкусу, по своей старческой усталости и потребности отдыха? И онъ молчитъ. И все идетъ по-старому. И каждое утро его терзаютъ стыдомъ о деньгахъ, не заплаченныхъ лакею, о томъ, что у дочери нѣтъ шубки и т. д., и т. д. А эта дочь и ея женихъ! Какъ онъ ненавидитъ этого жениха, считая его не только полнѣйшимъ ничтожествомъ, но еще шарлатаномъ и почти мошенникомъ. И, между тѣмъ, его дочь любитъ этого шалопая, любитъ потому, что и она воспитана и выросла безъ всякой общей идеи о жизни, безъ всякаго высшаго идеала и Бога въ душѣ. Она увлекается консерваторіей, ходитъ туда чему-то учиться, а этотъ проходимецъ считается почему-то и какъ-то прилебателемъ всѣхъ концертовъ, артистовъ, а потому и знатомъ. По крайней мѣрѣ, самъ онъ съ альбомомъ произноситъ сужденія о музыкѣ. А ей, очевидно, больше ничего не нужно отъ человѣка, чтобы избрать его въ спутники и руководители всей своей жизни. Мать согласна, потому что шалопай увѣряетъ, что онъ богатъ, что у него гдѣ-то подъ Харьковомъ имѣніе. Матери нѣтъ дѣла до всего остального, но ей важно узнать, дѣйствительно-ли у него есть это имѣніе. И она каждое утро проситъ мужа успокоить ее,

свѣдѣнъ въ Харьковѣ, узнать объ этомъ. Профессоръ понимаетъ въ отдаленности и этотъ частный случай, понимаетъ, что это — нелѣпость, что дѣло — не въ имѣннѣ, — хотя онъ почти увѣренъ, что имѣннѣ — ложь, — онъ небаивидитъ этого жениха какъ воплощенную пустоту и пошлость, онъ не въ силахъ выносить его присутствія, не въ силахъ повять бабъ его дочь, его милая, любимая дѣвочка, можетъ любить эту дрянь, и все же онъ долженъ его терпѣть у себя за столомъ ежедневно, слушать его глупыя самоувѣренныя сужденія, видѣть его почти — презрѣннѣ къ себѣ (ибо, что для такого шалопая всемирная извѣстность его ученыхъ заслугъ?), онъ терпѣть нѣжные дни его присутствія за стѣной, въ семьѣ, хотя самый голосъ этого человѣка ему ненавистенъ. Мало того, онъ ѣдетъ въ Харьковъ узнавать о его имѣннѣ, ѣдетъ больной, почти умирающей, одной. Но почему же онъ все это дѣлаетъ, почему не прогнать шалопая, не объяснить дочери, что это — пошлякъ, почему не объяснить женѣ, что съ такимъ пошлякомъ и шарлатаномъ — будетъ для дочери только несчастье? Почему самъ онъ понимаетъ это, но не можетъ передать этого другимъ и поступаетъ вопреки себѣ, подчиняясь другимъ? Потому, что, какъ сказано выше, всѣ его отдаленныя сужденія хороши, разумны, но въ нихъ нѣтъ общей идеи, общаго вѣрованія, общаго Бога, во имя котораго онъ могъ бы дѣйствовать и воздѣйствовать на другихъ. Онъ прекрасно понимаетъ нелѣпость, глупость каждаго частнаго факта, но это пониманіе въ немъ похоже на чисто личное, ему только принадлежащее чувство, истиннѣе, почти капризъ, необязательный для другихъ, не принудительный даже для него самого: пока онъ самъ не знаетъ общей основы, въ силу которой онъ такъ думаетъ и чувствуетъ. Въ самомъ дѣлѣ, что онъ скажетъ дочери? «Ты будешь несчастлива». Она спроситъ: почему? Она скажетъ: «я его люблю, а любовь въ бракѣ главное. Я люблю музыку, я готова быть музыкантшей, а онъ знатокъ». Какую общую идею онъ ей противопоставитъ? Цѣль жизни — не музыка, не любовь, скажетъ онъ. «А что же? Наука? Но вотъ вы же своей наукой счастливы? А, вѣдь, вы гений между другими?» И онъ ей не отвѣтитъ на этотъ вопросъ ничего, какъ онъ не отвѣтилъ на него другой женщиной, своей воспитанницей, своей единственной любимицей, когда она, вѣривъ въ него, уважая его безпредѣльно, пришла къ нему въ ужасный моментъ своей жизни съ этимъ

«Что-то время онъ ѣдетъ въ Харьковъ узнавать объ имѣніи
жениха своей дочери. Утромъ, въ гостиницѣ, одинъ, больной,
онъ вдругъ слышитъ стукъ въ дверь.

— Кто тамъ? Войдите!

Дверь отворяется, и онъ, удивленный, видитъ Катю (во-
спитанницу).

— Здравствуйте, говоритъ она, тяжело дыша отъ ходьбы
по лѣстницѣ. Не ожидали? Я тоже... тоже сюда прѣехала.

Она садится и продолжаетъ, замкаясь и не глядя на него:

— Что же вы не здоровааетесь? Я тоже прѣехала... Се-
годня узнала, что вы въ этой гостиницѣ, и пришла къ вамъ...

— Очень радъ видѣть тебя, но я удивленъ... ты точно
съ неба свалилась. Зачѣмъ ты здѣсь?

— Я? Такъ... просто взяла и прѣехала.

Молчаніе. Вдругъ она порывисто встаетъ и идетъ къ нему.

— Николай Степановичъ! говоритъ она, блѣднѣя и сжи-
мая на груди руки. Николай Степановичъ! Я не могу дольше
такъ жить! Не могу! Ради истиннаго Бога скажите скорѣе,
сию минуту: что мнѣ дѣлать? Говорите, что мнѣ дѣлать?

— Что же я могу сказать? Недоумѣваетъ старикъ. Ни-
чего я не могу.

— Говорите же, умоляю васъ! продолжаетъ она, зады-
хаясь и дрожа всѣмъ тѣломъ. Блянусь вамъ, что я не могу
дольше такъ жить! Силь моихъ вѣтъ!

Она падаетъ на стулъ и начинаетъ рыдать.

— Помогите мнѣ, помогите! умоляетъ она. — Не могу я
дольше!

— Ничего я не могу сказать тебѣ, Катя, отвѣчаетъ
ученый.

— Помогите! рыдаетъ она, хватая его за руку и цѣлуя
ее. — Вѣдь, вы мой отецъ, мой единственный другъ! Вѣдь, вы
умны, образованы, долго жили. Бы были учителемъ! Гово-
рите же: что мнѣ дѣлать?

— По совѣсти. Катя: не знаю... Онъ растерялся, скон-
фуженъ, тронутъ рыданиями и едва стоитъ на ногахъ.

— Давай, Катя, завтракать, говоритъ онъ, натянуто улы-
баясь. — Будетъ плакать! и тотчасъ-же прибавляетъ: меня скоро
не станетъ, Катя!

— Хоть одно слово, хоть одно слово! плачетъ она, про-
тягивая къ нему руки. — Что мнѣ дѣлать?

— Чудачка, право... бормочетъ онъ.— Не понимаю! Такая умница и вдруг—на тебѣ! Расплабалась.

Наступаетъ молчаніе. Батя поправляетъ прическу, надѣваетъ шляпу... и все это молча, не снѣша. Лицо, грудь и перчатки у нея мокры отъ слезъ, но выраженіе лица уже сухо, сурово... А старый ученый размышляетъ о себѣ: «я гляжу на нее и мнѣ стыдно, что я счастливѣе ея: вѣдь отсутствіе того, что мои товарищи-философы называютъ общей идеей, я замѣтилъ въ себѣ только незадолго передъ смертью, на закатѣ своихъ дней, а вѣдь, душа этой бѣдняжки не знала и не будетъ знать пріюта всю жизнь, всю жизнь!»

— Давай, Катя, завтракать, говоритъ онъ.

— Нѣтъ, благодарю, отвѣчаетъ она холодно. Послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ фразъ, Батя встаетъ и холодно улыбувшись, не глядя на него, протягиваетъ ему руку.

— Прощайте.

Ему хочется спросить: «значитъ на похоронахъ у меня не будешь?» Но она не глядитъ на него. Рука у нея холодная, словно чужая... Онъ молча провожаетъ ее до дверей... Вотъ она вышла, идетъ по длинному корридору, не оглядываясь. «Она знаетъ, думаетъ онъ, — что я гляжу ей вслѣдъ и, вѣроятно, на поворотѣ оглянется... Нѣтъ, не оглянется. Черное платье въ послѣдній разъ мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!»

Такъ кончился этотъ, по наружности пустынный, но въ сущности, ужасный эпизодъ. Съ нимъ кончается в повѣсть. Старика ждетъ, конечно, холодная, одинокая, глупая смерть, глупая потому, что онъ не понимаетъ ни ея смысла, ни смысла и цѣли своей жизни. Всю свою жизнь этотъ человѣкъ отдалъ на то, чтобы изслѣдовать природу человеческого организма и спасти этотъ организмъ отъ смерти, отъ которой, однако, никто никогда не спасется, исключая тѣхъ, которыя вѣрятъ въ смыслъ жизни и смерти. Эти послѣдніе, умирая, не думаютъ, что они умираютъ, и вѣрятъ, что и смертью своей они служатъ какой-либо цѣли высшей, чѣмъ ихъ личная жизнь, которая также служила какой-нибудь высшей цѣли. Повидимому, и этотъ старикъ служилъ цѣли высшей, чѣмъ его личная жизнь: онъ служилъ наукѣ, наукѣ сохранять по возможности дольше чужую жизнь и облегчать ея страданія. И эта цѣль, особенно послѣдняя, несомнѣнно высокая и хорошая

даль. Какою массою людей этотъ старикъ облегчилъ страданія! Сколько семьямъ сохранилъ отцовъ на нѣсколько лишнихъ лѣтъ, и сколько родителямъ сберегъ дѣтей, тоже на нѣсколько лишнихъ лѣтъ. Но почему - же онъ находитъ, тѣмъ менѣе, что у него не было общей идеи, Бога живыхъ людей? Развѣ это не общая идея—служить ближнимъ, облегчать ихъ страданія, удлинять ихъ жизнь? Развѣ есть идея выше этой? Конечно, не противъ этой идеи писалъ г. Чеховъ, который самъ, какъ извѣстно, врачъ и служитъ этой идее. Но очевидно, онъ болѣе, чѣмъ кто-либо, лично на себѣ самымъ пережилъ и перечувствовалъ недостаточность даже такой несобой и благородной идеи. Почему-же она недостаточна? Чего не достаетъ въ ней? Подробный и ясный отвѣтъ на это мы находимъ въ книжкѣ г. Н. Минскаго, которая есть философскій трактатъ на почвѣ поэзіи, или, говоря точнѣе, философскія идеи и сомнѣнія нашей эпохи, облеченныя въ прекрасныя, прочувствованныя, иногда гравіозныя поэтическія образы, изложенныя блестящей, сжатой, превосходной прозою говорящей выше многихъ, и многихъ стиховъ нашихъ современныхъ поэтовъ. Но прежде, чѣмъ перейти къ книгѣ Минскаго, попытаемся въ самомъ рассказѣ Чехова отыскать хотя приблизительный отвѣтъ на нашъ вопросъ. Старый профессоръ служилъ человѣческой жизни, уменьшенію въ ней страданія, возможному удлиненію этой жизни. Но какою - же «жизни» онъ служилъ? Жизни-ли въ смыслѣ высшаго сознательно—разумнаго нравственнаго существованія человѣка, или жизни въ простомъ смыслѣ физиологическаго существованія? Конечно, онъ служилъ жизни только во второмъ смыслѣ. Высшей, разумно-нравственной и самосознательной жизни людей онъ не могъ служить, потому что у него не было никакой идеи объ этой жизни, онъ не могъ дать ея даже своимъ дѣтямъ, своей женѣ. Стало быть, онъ служилъ только низшему, физиологическому существованію человѣка, а не высшему, нравственному и просвѣтленному бытію его. Но онъ облегчалъ страданія, онъ осушалъ слезы дѣтей и отцовъ, и т. д., и т. д. Но, опять - таки, какія это страданія? Могъ-ли онъ, напримеръ, облегчить душевныя страданія своей несчастной любимыи Бати, когда она, рыдая, умоляла его—помочь ей? Если бы у нея была просто душевная болѣзнь, истерика, онъ далъ бы ей бромистаго натра или кали, и она успокоилась бы. Даже если бы у нея была истерика, и теперь онъ могъ бы ей предложить эти лѣкарства,

дать ей еще и лавровишневыхъ капель, и она успокоилась бы. Но почему-же онъ этого не дѣлаетъ? Почему не взглянетъ на вопросы, измучившіе ее, какъ на нервную болѣзнь, которую можно и слѣдуетъ вылѣчить? А потому же, почему онъ не далъ никакого лѣкарства и своей дочери-невѣстѣ, когда однажды ночью, мать прибѣжала къ нему въ кабинетъ и объявила, что съ той что-то творится. Профессоръ идетъ за женой въ комнату дочери. Лиза сидитъ на постели въ одной сорочкѣ, свѣсивъ босыя ноги, и стонетъ.

— Ахъ, Боже мой... ахъ, Боже мой! бормочетъ она, жмурясь отъ свѣчи. Не могу, не могу...

— Лиза, дитя мое, говоритъ онъ.—Что съ тобой.

Увидѣвъ отца, дѣвушка вскрикиваетъ и бросается къ нему на шею.

— Пана мой добрый... рыдаетъ она,— пана мой хороший... Крошечка мой, миленькій... Я не знаю, что со мной... Тяжело!..

Она обнимаетъ его, цѣлуетъ, лепечетъ ласкательныя слова, какія онъ слышалъ отъ нея, когда она была еще ребенкомъ.

— Успокойся, дитя мое, Богъ съ тобой, говоритъ онъ.— Не нужно плакать. Мнѣ самому тяжело.

Онъ старается укрыть ее, жена даетъ ей пить, и оба они беспорядочно толкутся около постели; своимъ плечомъ онъ толкаетъ въ плечо жену, и въ это время ему вспоминается, какъ они когда-то вмѣстѣ купали своихъ дѣтей.

— Да помоги-же ей, помоги! плачетъ жена.—Сдѣлай что-нибудь.

«Чтоже я могу сдѣлать?» думаетъ онъ: «Ничего не могу. На душѣ у дѣвочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю; не знаю и могу только бормотать:—Ничего, ничего... Это пройдетъ... Спи... Спи...»

Въ обоихъ случаяхъ, было можно «что-нибудь прописать», и лѣкарство заглушило бы субъективное чувство страданія, вопросовъ и недовольства, дало бы покой, апатичное состояніе. Но ученый профессоръ знаетъ относительно Кати, что у нея былъ періодъ такого успокоенія и апатии, когда она по цѣлымъ днямъ валялась на диванѣ съ романомъ или злословила все окружающее. Но, вѣдь, именно тогда-то, онъ и находилъ ее ненормальной, больной. Вѣдь, именно тогда-то онъ и говорилъ, что такъ жить нельзя, что надо чѣмъ-нибудь заняться. Какъ-же теперь, когда ея душа проснулася для мучительныхъ вопросовъ о цѣляхъ и смыслѣ жизни, о томъ—

что дѣлать, онъ дастъ ей лѣкарства отъ этого состоянія? Для чего? Для того, чтобы снова погрузить ее въ ту безчувственную апатію, которую самъ же находилъ ненормальной?

Но не то же ли и съ дочерью, съ Лизой? Онъ всегда видѣлъ ее веселой и довольной около ненавистнаго ему жениха. Не его-ли самого возмущало это довольство и спокойствіе въ обществѣ пошляка, ничтожества, дряннаго болтуна? И вотъ, въ ней, быть можетъ, проснулось безсознательно въ чудную лѣтнюю ночь это чувство жизненной пошлости, безцѣльности. Она въ безумномъ отчаяніи и тоскѣ умоляетъ его помочь ей. И что онъ можетъ сдѣлать для нея? У него есть лѣкарства, которыя могутъ погрузить ее снова въ самодовольное спокойствіе около пошляка, а между тѣмъ онъ-то знаетъ, что не того бы ему хотѣлось, ему хотѣлось бы дать ей такого лѣкарства, которое навсегда, на долго задержало въ ней эту тоску, чтобы эта тоска заставила ее задуматься глубже надъ жизнью. Но и этого онъ не думаетъ ясно, потому что онъ самъ не знаетъ, что-бы онъ далъ ей взамѣнъ этого пошлаго жениха и этого пошлаго довольства.

А если она будетъ страдать отъ этой тоски всю жизнь, какъ будетъ страдать Каця? Вѣдь, ему нечего сказать имъ обвинимъ, нечего имъ дать, что бы наполнило ихъ пробужденную душу и жизнь. И онъ оставляетъ ихъ безъ помощи, безъ лѣкарства какъ въ сторону успокоивающую, такъ и въ сторону, дающую смыслъ и содержаніе зародившемуся безпокойству. Если бы онъ былъ призванъ къ чужой дочери, женѣ, воспитанницѣ, онъ бы навѣрное далъ успокоивающаго, не разбирая долго причинъ и мотивовъ, вызвавшихъ душевную тревогу. Здѣсь, наоборотъ, онъ отлично знаетъ, что дать успокоивающаго, значитъ опять возвратитъ въ ту пошлость и бессмысленность, которыя онъ такъ ненавидѣлъ инстинктивно. Но у него нѣтъ и духовнаго лѣкарства, т. е. общей идеи, идеала, живого Бога, чтобы его вложить въ страдающую душу и направить ее къ новому добру и свѣту, и онъ беспомощный отходитъ въ сторону. Такимъ образомъ, мы видимъ какъ и отъ какихъ страданій онъ могъ облегчать людей: это были страданія или тѣлесныя, или тѣ душевныя страданія, которыя вызываються болѣзнію и ожиданіемъ скорой смерти близкихъ людей, или, наконецъ, страданія, обыкновенно приписываемыя нервности, но среди которыхъ мы чаще всего (хотя и не всегда) находимъ просто нормальнѣйшія страданія не-

удовлетворенной совѣсти и разума. Отъ страданій тѣлесныхъ, а также отъ душевныхъ страданій при видѣ больного и умирающаго онъ могъ исцѣлять тѣмъ, что вылѣчивалъ больного и на время продлялъ жизнь умирающаго. Но, вѣдь, это всегда и во всѣхъ случаяхъ было лишь временной помощью. Каждый выздоровѣвшій больной, какъ и каждый здоровый человекъ, и я, и вы, читатели, должны умереть неизбежно, и объ этомъ постоянно надо помнить, и отъ этого вылѣчить не могъ ученый профессоръ, но этого отъ него и не требовали, а важно то, что онъ не могъ вылѣчить отъ того страданія, которое причиняется умирающему страхомъ смерти, и отъ того горя, которое создается для близкихъ смертью любимаго человека. А между тѣмъ и отъ страха смерти, и отъ горя о смерти есть лѣкарства, но эти лѣкарства не вещественныя, — духовныя; они состоятъ въ вѣрѣ, въ идеѣ, въ идеалѣ, въ томъ Богѣ, котораго не было у знаменитаго ученаго. Какъ человекъ современный и поклонникъ специализаціи знаний, вы можете не шутя отвѣтить мнѣ, что такія утѣшенія имѣютъ своихъ специалистовъ и не относятся къ специальности врача. Конечно, съ известной узкой точки зрѣнія вы будете правы: учитель — учи, мужикъ — паши, читатель — читай, врачъ — лѣчи, и не знай ничего другого. Съ этой точки зрѣнія, конечно, нашъ профессоръ могъ бы передъ смертью совершенно успокоиться: онъ работалъ свою работу, какъ специалистъ, работалъ превосходно, получилъ всемирную известность и т. д. Но, въ томъ-то и дѣло, что помимо успокоительныхъ теорій есть въ человекѣ совѣсть и сердце, и они-то прежде всего не могли не сказать ему, что будь онъ не специалистъ только, а человекъ живой, въ широкомъ смыслѣ слова, и его Катя нашла бы у него отвѣтъ на вопросъ: «что мнѣ дѣлать?» и его Лиза нашла бы отвѣтъ на ея крикъ: «помоги!» и не вышла бы тайкомъ замужъ за своего шалопаю. А отъ своей семейной жизни онъ могъ бы перейти и къ своей дѣятельности даже какъ врача, онъ могъ догадаться, что быть можетъ, въ тысячахъ случаевъ, гдѣ онъ давалъ бромистый кали или натръ отъ нервовъ, онъ, если бы онъ былъ живой человекъ, съ Богомъ въ душѣ, не долженъ бы былъ давать ихъ ни подъ какимъ видомъ, а долженъ бы былъ указать путь, выходъ, высокую цѣль, смыслъ и цѣль жизни. — Наконецъ, оглянувшись даже на свою личную жизнь, онъ бы увидѣлъ, что его специализація и великіе успѣхи въ ней, сдѣ-

лавнѣе его и тайнымъ совѣтникомъ и европейской знаменитостью, не дали ему ничего, кромѣ личнаго горя, страданій душевныхъ и одиночества въ семьѣ и среди людей. Онъ съ наслажденіемъ вспоминаетъ время, когда жилъ съ семьей бѣднѣе и проще, когда во время обѣда сходилась эта семья дружно и весело, радуясь, что и онъ съ ними. Онъ вспоминаетъ, какъ мы видѣли, что когда-то, вмѣстѣ съ женой купалъ своихъ дѣтей и, вѣроятно, тогда хорошо, тепло и не одиноко было у него на душѣ. Но онъ, какъ специалистъ, не шель дальше этого, т. е. дальше физическаго воспитанія дѣтей, а. быть можетъ, ему и некогда было думать о другомъ. Но время одного физическаго воспитанія прошло. Настало время воспитанія нравственнаго и умственнаго. Здѣсь онъ былъ никуда не годенъ, безъ общей идеи, безъ Бога, связывающаго воедино его знанія, взгляды и убѣжденія, и вотъ вся семья пошла врозь, несвязанная также общей идеей, какъ онъ не былъ самъ ею связанъ. А плоды мы уже видѣли. Отсюда ясно, что говорить о правѣ человѣка специализироваться, предоставляя высшіе вопросы жизни и смерти другимъ специалистамъ, это, значитъ, грубо не понимать жизни, грубо шутить надъ ея самыми великими и роковыми задачами. Прежде всего мы должны имѣть человѣка, живого человѣка со всей полнотой душевныхъ свойствъ, убѣжденій и вѣровацій, какъ относительно цѣлаго міросозерцанія, такъ и относительно общественныхъ взглядовъ, и лишь на этой почвѣ имѣть право вырости специалистъ. Такова основная идея повѣсти талантливаго беллетриста, съ которой невозможно не согласиться. Въ нашемъ обществѣ, эта столь ясная истина должна быть повторяема особенно часто. Вслѣдствіе полного отсутствія у насъ серьезной національной философіи, мы совсѣмъ не интересуемся философскими вопросами; а поверхностный матеріализмъ, позитивизмъ и пессимизмъ, взятые изъ Европы, окончательно отбиваютъ у насъ охоту къ высшимъ вопросамъ жизни и смысла жизни. Мы до сихъ поръ наивно и дѣтски были увѣрены, что наука можетъ дать отвѣтъ на всѣ вопросы, а если она не даетъ ихъ, то и ничто не можетъ ихъ дать, и о нихъ надо забыть, какъ о безсмысленной и безцѣльной метафизикѣ, которой могутъ заниматься люди лишь отъ нечего дѣлать. Всякую попытку рѣшать такіе вопросы мы обзывали не только метафизикой, но словомъ «мистицизмъ», презрительнѣе котораго не находилось

въ нашемъ лексиконѣ. Но вотъ идетъ опытъ самой жизни, и онъ говоритъ намъ, какъ мы были дѣтски-легкомысленны и грубо-невѣжественны, смотря такимъ образомъ и полагая, что можно сдѣлать въ жизни что-либо глубокое, серьезное, важное безъ основного рѣшенія себѣ самыхъ основныхъ вопросовъ, безъ путеводящаго компаса, безъ общей идеи, лежащей въ основѣ нашихъ нравственныхъ, общественныхъ и научныхъ стремленій. Въ слѣдующей статьѣ мы отмѣтимъ другое явленіе нашей литературы, книжку г. Минскаго, посвященную подробному разсмотрѣнію тѣхъ же вопросовъ. Все это доказываетъ, что опытъ жизни назрѣлъ, что глаза открываются, наконецъ, на истину, о которой уже давно твердятъ люди болѣе дальнзоркіе и достаточно оплеванные за свою дальнзоркость. Мы увѣрены, что и на новыхъ глашатаевъ этой истины посыплются старыя обвиненія въ метафизикѣ и мистицизмѣ, и вчерашніе руководители передового слова, нынѣ сами ставшіе шамкающими старцами, опоздаются сильнѣе другихъ за свое старое «сredo», разстаться съ которымъ имъ трудно и тяжело, какъ съ дѣломъ всей своей жизни. Но пусть не унываютъ тѣ, для которыхъ стала ясна великая и вѣчная истина; пусть помнятъ, что они выражаютъ, дѣйствительно, назрѣвшую, наболѣвшую общую потребность, тогда какъ ихъ противники выражаютъ только потребности своего самолюбія, не желающаго упустить бразды привычнаго имъ руководительства, потерпѣвшаго огромное фіаско, но тѣмъ сильнѣе старающагося казаться побѣдителемъ. Вспомнимъ, что все это—жалкіе, старѣющіеся люди, когда-то герои дня, которымъ трудно, больно отказаться отъ своей роли и рѣшится подъ конецъ жизни, что они ничего положительнаго не сдѣлали, не внесли въ жизнь никакого настоящаго свѣта и умрутъ бесплодно, какъ и жили бесплодно, въ шумихѣ кажущагося творчества и дѣятельности. Скажу заранѣе: миръ ихъ праху.

Я кончилъ, но мнѣ извѣстно, какъ искусны мои литературные враги на придумываніе и приписываніе мнѣ такихъ вещей, которыхъ я никогда не говорилъ, и даже такихъ, противъ которыхъ я постоянно говорилъ. Такъ и теперь я боюсь, что меня обвинять въ отрицаніи науки, а въ виду начала статьи, гдѣ я отношусь нѣсколько иронически къ искателямъ опредѣлителямъ и поклонникамъ прогресса, меня обвинять въ отрицаніи прогресса, въ отрицаніи пользы подобныхъ изслѣдованій, пользы такихъ статей, какъ «Герои и толпа» и т. п.

Я прямо и всѣми силами моей души отрицаю такое толкованіе моихъ словъ. Я самъ написалъ и напечаталъ въ моемъ журналѣ обширную работу о прогрессѣ. Правда, я ввелъ въ нее цѣлую главу подъ заглавіемъ «Субъективныя условія блага», гдѣ стараюсь рѣшить и основные вопросы о смыслѣ жизни, о высшемъ нравственномъ принципѣ. Но вся остальная работа построена на данныхъ положительной науки и естествознанія. Противъ науки вообще было бы странно говорить миѣ, издающему научный журналъ! Я преклоняюсь передъ наукою, преклоняюсь и передъ прогрессомъ, но я не дѣлаю себѣ изъ нихъ кумира, не считаю ихъ божествомъ. За наукой и за прогрессомъ я признаю достоинства лишь какъ за частными явленіями болѣе широкой человѣческой жизни. Прогрессъ сознательный, разумный, какъ и наука во всѣхъ ее отрасляхъ, не есть, по моему, цѣль, не есть все, а только средства, только частная сторона человѣческой жизни, имѣющей смыслъ и цѣль высшіе, чѣмъ наука и прогрессъ, служащіе только средствомъ къ этой высшей цѣли. Въ моей работѣ о прогрессѣ я старался указать эти высшія цѣли, входящія, какъ элементъ «субъективнаго условія блага», безъ которыхъ пошлы, ничтожны, бессмысленны, неразумны всѣ другія блага, условія которыхъ объективны, т. е. связаны съ предметами вѣшняго міра и съ всякими другими источниками нашихъ чувственныхъ удовольствій.

Итакъ, я признаю глубокое значеніе для жизни (въ качествѣ объективныхъ условій счастья) науки, а въ числѣ ихъ и всякія изслѣдованія о прогрессѣ, о формулахъ прогресса, о герояхъ и толпѣ. Я только думаю, что всѣ эти науки и изслѣдованія такая же односторонняя спеціализація, какой была наука у нашего ученаго профессора,— если она не объединены съ общей идеей, основной этической идеей о смыслѣ и цѣли жизни. Я вовсе не отрицаю абсолютно ученыхъ заслугъ и даже великой пользы дѣятельности этого профессора. Я только указалъ, что это польза односторонняя, что есть масса вопросовъ и моментовъ жизни, когда ему нечего сказать и нечего дѣлать. И все это столь же полно относится ко всякой другой научной или публицистической дѣятельности, хотя бы и къ изслѣдованіямъ о прогрессѣ, если творцы этихъ изслѣдованій не рѣшили для себя основныхъ вопросовъ жизни. Поэтому-то миѣ всегда были непонятны нападки нашихъ прогрессистовъ на тѣхъ писателей, которые

задаются этими общими вопросами. И надъ этимъ только, т. е. надъ презрительнымъ отношеніемъ специалистовъ (хотя бы по прогрессу), я не могу не улыбаться иронически. Они лѣзутъ изъ кожи вонъ, чтобъ унижить въ глазахъ публики и дискредитировать людей, занятыхъ общими и основными вопросами, какъ будто эти вопросы мѣшаютъ специальнымъ вопросамъ и специальной дѣятельности и дѣятелямъ (напр. дѣятелямъ науки, медицины или даже прогресса). Въ моихъ глазахъ, это не болѣе, какъ странное, печальное, недоразумѣніе. Я вижу, наоборотъ, что общіе вопросы не только не идутъ во вредъ частнымъ, специальнымъ, но чаще всего и почти всегда помогаютъ имъ, въ чемъ убѣдится каждый, поглубже заглянувъ въ исторію. И вотъ почему я всегда защищалъ и стоялъ на сторонѣ проводниковъ общихъ, основныхъ идей, вотъ почему я въ свое время горячо защищалъ книгу Вл. Соловьева «Критика отвлеченныхъ началъ», защищалъ «Братьевъ Карамазовыхъ» Достоевскаго и этические опыты Толстого. Только невѣжды или люди не читавшіе моихъ статей могли подумать, что я послѣдователь кого-либо изъ этихъ лицъ. Нѣтъ, мои личные взгляды я достаточно выразилъ еще въ 1877 году въ журналѣ «Свѣтъ» (проф. Н. П. Вагнера) въ статьѣ «Два потока», затѣмъ въ 1879 году въ передовой статьѣ того же журнала, подъ заглавіемъ «Любовь или Вражда», а также въ вышеупомянутыхъ моихъ статьяхъ о прогрессѣ, въ статьѣ «Основанія морали любви», и во мн. др. Я постоянно, съ самаго начала моей литературной дѣятельности проводилъ одну руководящую идею, о полной совмѣстности и гармоніи науки съ величайшей изъ религій, религіей любви. Поэтому и теперь я восторженно привѣтствую всякое проявленіе этой идеи, хотя бы въ формѣ отрицательной, какъ въ очеркѣ Чехова, гдѣ показано ярко, наглядно, психологически-неоспоримо, что одна наука и специализація въ ней невозможны для истинно-разумной жизни, безъ господства высшей, объединяющей идеи, т. е. религіи, которая буквально и обозначаетъ «объединеніе». Я даже не въ силахъ понять, какъ могутъ люди науки или поклонники прогресса враждовать съ этой идеей: вѣдь она есть то общее, которое никоимъ образомъ не можетъ мѣшать ихъ частному, какъ не можетъ общее всѣмъ небо мѣшать постройкѣ потолкавъ и крышъ, или общая всѣмъ кожа на ногахъ мѣшать сапожникамъ шить сапоги. Наоборотъ, общее,

объединяющее начало, дающее людямъ силу и крѣпость духа, мужество въ перенесеніи личныхъ и временныхъ страданій, могущество въ исполненіи долга, оно одинаково нужно всѣмъ и полезно для всѣхъ дѣятельностей, для всѣхъ партій и направлений, какъ для всѣхъ полезенъ огонь, вода, хлѣбъ. Но что бы вы сказали о чудакахъ, которые отрицаютъ бы огонь, воду, хлѣбъ за то, что они нужны не имъ однимъ, а всѣмъ, слѣдовательно и ихъ врагамъ! Удивительное заблужденіе!

Созерцатель.

мшнврдф са в ПУЖ а нмвва аса внодр тохнто волюрнтмвваф

<Оболенский>
по. В. Покровскому
и др.